



О.В. Кириченко

Значение А.И. Солженицына для сохранения русской этнической культуры¹

Дело «сбережения народа» (термин Солженицына) — дело общее, касающееся всех компетентных сил в обществе, и писательское участие здесь оказывается очень важным. Подлинного писателя, к числу которых и относится Солженицын, к писательскому перу, толкает в первую очередь не писательский зуд, не поиск славы и успеха, а желание погрузиться в тайну писательского труда, запечатлеть неуловимые обычному взгляды художественные образы и смыслы, чтобы, в конечном счете, послужить своему народу истинными трудами. К этому самого Солженицына подтолкнул Л.Н. Толстой, его роман «Война и мир», после прочтения которого, подросток почувствовал желание стать писателем². Причем первым сюжетом, который ему захотелось облечь в художественную форму, была тема *революции* — не только политического, но и социального, культурного и национального (этнического) катаклизма. Судьбу народа, вовлеченного в водоворот страшных испытаний, нужно было рассмотреть сквозь призму различных общественных коллизий, политических, культурных, национальных сил, которые и подготовили этот гигантский взрыв.

Всё огромное литературное, научное и публицистическое наследие А.И. Солженицына можно разделить на несколько тем, по сути, на три темы: 1) революции; 2) ГУЛАГа; 3) национального вопроса или шире — национальных отношений. И при этом последняя тема имела не только самостоятельное значение, но и пронизывала две первые темы. Этнический вопрос в революции и

в лагере был если не стержневым, то, во всяком случае, важным маркером поведенческой идентичности литературных героев. Считая писателя наследником славянофильского направления, в том виде, как оно сложилось к 1917 г., мы отдаем себе отчет, что это была сознательная линия постоянного, даже жгучего писательского внимания Солженицына к народу, и в значительной степени к русскому народу. Народолюбие Солженицына было с одной стороны данью интеллигентской традиции, привязанной к заботе и опеке над народом, как нравственному долгу, но с другой стороны советский опыт заставлял писателя признавать себя не сторонним наблюдателем, а частью народа, что открывало перед ним дополнительные горизонты «говорить и действовать от лица самого народа». Вот почему, мы вправе считать наследие этого писателя и мыслителя не только плодом умозрительного творчества, но и некоей особой жизненной практики, которую прошел, в качестве испытания не просто конкретный человек по имени Солженицын, но яркий представитель русского народа, русской культуры и традиции.

Вопрос о сбережении народа для самого А.И. Солженицына был сопряжен со всем спектром проблем, вплоть до демографического, касающегося лично самого писателя. Вот эта сознательная нацеленность на практический результат и заставляла его не довольствоваться тихой жизнью беллетриста, но везде и всюду искать пути выхода из кризиса, в который попадал сам Солженицын и в котором находился русский народ. Как будет

¹ Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-09-00196).

² Сараскина Л.И. Солженицын. М.: Молодая гвардия, 2018. С. 134.

показано ниже, писателю приходилось не просто многое учитывать, чтобы прийти к успеху, достичь необходимого результата, но и идти на определенные компромиссы. Но компромиссы эти, являлись для Солженицына не компромиссами с совестью, а скорее компромиссами ума, рассудка; когда ум попадал в логическое противоречие, которое можно было преодолеть, лишь разрубив гордиев узел. Гордиевым узлом, в данном случае, для писателя всегда являлась ситуация, противоречащая его убеждениям.

Судьба славянофильства в России

Александр Исаевич Солженицын — человек, несомненно, из славянофильского лагеря, патриот России, человек русской традиции и культуры, литературные и художественные труды которого и сама судьба вызывают все больше споров и даже противостояния сил. И вот это последнее и требует особого внимания рассмотрения и всесторонней оценки, потому что советское время, где мы впервые наблюдаем господство постмодерна (хотя скрывающегося за фасадом советского модерна) не могло не отразиться на человеке, который был не просто писателем, а претендовал на высшую ступень писательства — быть *светским пророком*. В этом статусе нельзя было отрешиться от времени, пренебречь его законами, не жить им, не дышать его воздухом, — вот почему наш первый тезис будет состоять в том, что русский писатель А.И. Солженицын в своем пророческом даре жил и действовал в условиях постмодернистской реальности, и его художественное, прежде всего, творчество должно укладываться в эту парадигму.

Славянофильство как умозрительная (интеллигентская) форма существования русского православия за XIX и начало XX в. претерпело ряд серьезных трансформаций, главные из которых можно свести к появлению двух направлений: а) либеральное (этическое) славянофильство и б) консервативное (эстетическое) славянофильство. Первое было сопряжено с именами И. С. Аксакова, Ф.И. Тютчева, Вл. С. Соловьева и той последующей линией мыслителей, которые их поддерживали. Сюда вошли позже такие персоны как Л.Н. Толстой, В.В. Розанов, В.О. Ключевский. Второе утверждается именами М.Н. Каткова, К.Н. Леонтьева, Н.Я. Данилевского, К.П. Победоносцева и Ф.М. Достоевского и всех других меньшего уровня, кто разделял их идеи.

Почвенники искали возможности *предупредить* общество о грядущих напастях, о том, что день грядущий готовит нам; о подводных камнях, таящихся в тех или иных идеях, не исключая и самой дальней эсхатологической перспективы. Либералы же из числа славянофилов были заняты ра-

дикальным *обвинением* власти в несовершенстве, учили и давали советы, как правильно решить тот или иной общественный и социальный вопрос. Таким образом, высшими формами у того и другого направления стали *пророчество* и *учительство*. Ф.М. Достоевский выступал как пророк, Л.Н. Толстой же претендовал на роль учителя общества и государства. И обе эти роли — пророческая и учительная не были случайностями, являлись выражением особенностей модерна — эпохи, в которую жила оба литератора.

Само понятие «светского пророка» родилось на Западе, в рамках новой мировоззренческой реальности, называемой модерн (с эпохи Возрождения) и было связано с появлением автономной светской сферы, распространившейся поначалу только на область художественного творчества. Чем объяснить появление светских пророков? Только тем, что отказавшись от «господства религии», литераторы, художники, скульпторы попытались «по-светски» решать те проблемы, которые с их точки зрения не позволяла им решать Католическая Церковь.

Российский модерн вырастает не на национальной почве, а насаждается сверху, как образец западного мировоззрения, в обеих его формах: католической (светской *пророческой*) и протестантской (светской *учительной*), с преимуществом, отданным протестантскому варианту. В России эти направления были адекватны западничеству и славянофильству. Первое связывалось с протестантской традицией, господствующей почти весь XVIII в., вторая — с католической, в русском варианте вылившейся в славянофильство. Несомненно то, что причиной победы славянофильства и растворения западничества в славянофильстве во второй половине XIX в. следует считать сохранение традиционной мировоззренческой парадигмы. С ее помощью постепенно сошло на нет протестантское направление, а славянофильское в либеральном своем крыле стало выполнять его функции. Таким образом, если говорить о том какие силы олицетворяли собой Достоевский и Толстой, то, по сути, это были в обоих случаях те силы Запада, которые мы связываем с *католическим концептом пророческого служения*. То есть объективно, Толстой должен был выполнять пророческие функции, но на деле, его либерализм (точнее либерализм левого крыла славянофильства) все-таки сыграл с ним злую шутку, он вытолкнул Толстого на протестантский дискурс в отношении модерна. Это было своего рода предательством по отношению к славянофильству, которое приютило бывших западников и дало им перспективы для существования внутри России. И кстати говоря,

этот мотив предательства, потом станет одной из родовых черт в целом толстовского направления. С этим позже вплотную столкнется Солженицын, когда будет глубоко и всесторонне осваивать тему владения. Рассмотрим поглубже вопрос о причинах столь ухода Л.Н. Толстого в протестантский учительный дискурс.

Самое первое, лежащее на поверхности объяснения толстовского выбора заключается в следующем: отказ от пророческой миссии в угоду некоему эфемерному земному *благу* (а Л.Н. Толстой стремился именно к этому!), не сводилась у писателя только к религиозной стороне оболащивания слабых в вере душ. Этот путь открывал для образованной, интеллигентной среды возможность двигаться в рамках иного пути, отличного от пророческого. В этом и заключалась подлинная духовно разрушительная миссия Льва Николаевича Толстого, как *анти-пророка*. Прот. Георгий Флоровский называет это «нигилизмом здравого смысла»³. Нежелание Толстого стать пророком, нести пророческий крест, требующий отказа от всех «барских затей», маскарада с опрощением, с религиозным вольнодумством и прочими атрибутами чисто головного экспериментаторства писателя был, на наш взгляд, особой формой протеста против Церкви и государства ее опекающего. Церковь, как корень зла для Толстого, была виновата в том (по его мнению), что не сумев разрешить проблему смерти, претендовала своим учением и своими институтами и таинствами на это разрешение. Это и было для Толстого неприемлемо. Он предпочитал бы (как он думал) слышать правду о непобедимости смерти, чтобы иллюзии не держали людей в плену, иначе человеческое страдание могло стать проклятием на всю жизнь, как это было с ним самим. Толстой думал (как нам кажется), что его мука, идущая от невозможности избавиться от смерти, вызваны именно этим обстоятельством — неким убаюкивающим голосом Церкви, что есть бессмертие и спасение в вечности. Государство же было виновато в том, что поддержало Церковь, возвысило, институализировало ее, дало ей власть над людьми. Так нам видится причина нелюбви Л.Н. Толстого к Церкви и государству. А быть пророком (хотя бы светским), как считал, очевидно, Толстой — это все равно служить церковному делу, а значит косвенно — и государственному.

К.Н. Леонтьев признавал за Толстым гораздо больший литературный талант, чем у Достоевского, числил также за ним целый ряд тем, которые мог бы раскрыть блестяще только Толстой⁴. И если бы Толстой действовал как пророк, а не примитивный нравоучитель и хулитель Церкви, то многие вопросы, не учтенные Достоевским, могли бы быть озвучены и также получили бы другой общественный и духовный статус и резонанс. Художник М. Н. Нестеров, писавший портрет Толстого и живший в Ясной Поляне, отметил в своих мемуарах «озорство мысли» того, как одно из главных его качеств. Также он говорит о «нигилизме» Толстого, «сентиментальном мистицизме» и «яростном рационализме». Вместо пророческого «спасения человека», раскрытия перед ним грядущих опасностей, Толстой сам заводит людей в дебри своих мечтаний и прихотей: «Сколько эта барская непоследовательность, “блуд мысли”, погубили слабых сердцем и умом, сколько покалечили, угнали в Сибирь, в Канаду, один Господь ведаёт! А все ведь так мило, искренне, при одинаковой готовности смаковать “веру” умного мужика Сютаева и “вошь” на загривке этого самого Сютаева»⁵. Этим своим подходом — не-пушкинским, псевдо-народным Толстой увлек за собой и множество других дарований своего времени в самых разных областях жизнедеятельности. И здесь не обязательно было исповедовать толстовство, как сектантское вероучение, здесь было важно воспринять анти-пророческий дух толстовства, дух, нежелающий служить ни Церкви, ни государству, а только народу, в его толстовском понимании.

В дореволюционной России линия пророческая и учительская (лже-пророческая), морализаторская не слились в одно, поскольку сами рамки модерна не позволяли это сделать. Но ведь и лжепророческая линия — это тоже явление непривычное для модерна, это некое исключение из правила, появившееся на пророческой почве, как следствие метаморфозы, происшедшей с одним из самых крупных представителей пророческой линии. Но, очевидно, в воздухе уже создавалась такая атмосфера, которая способствовала этим переменам, так, что чуткому к процессам упрощения К.Н. Леонтьеву было ясно, что дело здесь в падении приоритета эстетического принципа в пользу этического. В его системе: эстетика созидает, этика разрушает, эстетика усложняет мир, а этика в го-

³ Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия, Вильнюс, 1991. С. 409.

⁴ Леонтьев К.Н. Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений в 12-ти томах. СПб.: «Владимир Даль», 2007. Т. 8. Кн. 1. Публицистика 1881—1891 годов. С. 297—315.

⁵ Нестеров М.В. О пережитом. Воспоминания. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 370.

сподстве своем упрощает. И в данном случае моралист Л.Н. Толстой закономерно выступает как разрушитель мира, который он редуцирует своими интеллигентскими схемами и моральными догмами. Таким образом разрушения стала и история России, написанная Ключевским, мода на которую и спрос на которую, был чрезвычайно высок.

Пророческая линия у А.И. Солженицына

Анализируя нобелевскую речь Солженицына Т. Лопухина-Родзянко, говорит о мировоззренческом идеале писателя, который воплощался в триединстве Истины, Добра и Красоты⁶. Пока эти три ипостаси разделены, нет подлинного существования ни первого, ни второго, ни третьего. Но соединение их, по мысли Солженицына, происходит в Искусстве, т.е. на платформе Красоты. Так он объясняет фразу Достоевского «Красота спасет мир». То есть, Солженицын сознательно развивал в своем творчестве обе линии — этическую и эстетическую и дополнял ее духовной (ипостась Истины), что, очевидно, надо связывать с пророческой деятельностью. Но ведущей деятельностью, как следует из нобелевской речи писателя, являлась все же не пророческая, а учительная деятельность, линия, начатая в свое время Толстым.

Конечно, мимо фигуры Достоевского, «самого великого из русских» для Европы и для Запада в целом, Солженицын не мог пройти. Точнее сказать не мог просто ограничиться только уровнем художественного влияния великого классика на себя⁷. Нужно было продолжить деятельность Достоевского во всех ее ипостасях, и в первую очередь пророческой. И переклички действительно, просматриваются, как отмечали многие исследователи творчества Солженицына. Один предупредил русское общество о грядущем ГУЛАГе, другой — пережил и описал этот ГУЛАГ в его историческом воплощении. Сближала и арестантская судьба, как и то непонимание и отвержение, которые следовали вслед за шумными овациями и успехом. Солженицын претендует на включение в эстафету, исходя, конечно, не из банального тщеславия

или честолюбия, а из ответственности перед Богом за порученное ему дело. Солженицын хотел быть «анти-Лениным», как говорил о. Александр Шмеман, записывая в свой первый дневник разговор с писателем. От 30 мая 1974 г. «В минуты гордыни я ощущаю себя действительно анти-Лениным. Вот взорву его дело, чтобы камня на камне не осталось... Но для этого нужно и быть таким, каким он был: струна, стрела... Разве не символично: он из Цюриха — в Москву, я из Москвы — в Цюрих...»⁸. Задача «вернуть народ на круги своя», действительно не просто писательская, а именно пророческая⁹.

Рассмотрим подробнее тему влияния Достоевского на Солженицына, с точки зрения реализации «пророческой» функции в его центральном произведении «Архипелаг ГУЛАГ». Вообще, такое впечатление, что «ГУЛАГ» писался в какой-то мере вопреки субъективной воле писателя, быстро, вдохновенно, как книга для «будущего читателя»; отсюда в ней такое обилие коллективной информации, «коллективной души», жажды тысяч заключенных, приславших Солженицыну свои воспоминания, чтобы в одном крупном произведении собрать коллективную правду о лагерях. Отсюда — гомеровская эпичность и дантовская смысловая глубина этого произведения¹⁰. В «Гулаге» нет толстовского, надламывающего душу морализаторства, обличения; не упоминается Сталин, нет истерии противостояния эзков и их охраны; трагедия заключенных *вообще не разрешается в настоящем*. У нее много дней впереди, и в каком году она завершится, автор, будто и не знает; в 1956 г. или 1961 г.? А может быть в 1991 или 1993 г.? Пространство ГУЛАГа открыто; и кто и когда его закроет неизвестно.

«Архипелаг ГУЛАГ», — книгу поначалу не должную (по возможностям автора охватить весь спектр проблем лагерной жизни) стать пророческой, таковой сделали многочисленные письма корреспондентов, вал откликов, комментариев, новых случаев, который обрушился на Солже-

⁶ Т. Лопухина-Родзянко в книге «Духовные основы творчества Солженицына». Франкфурт-на-Майне: «Посев», 1974. С. 11.

⁷ Хотя об этом пишет, например, Т. Лопухина-Родзянко в книге «Духовные основы творчества Солженицына». Франкфурт-на-Майне: «Посев», 1974. С. 57.

⁸ Шмеман Александр, прот. Дневники 1973–1983. Составление, подготовка текста У.С. Шмеман, Н.А. Струве, Е.Ю. Дорман. — М.: Русский путь, 2005.

⁹ В книгу Л. Сараскиной о писателе, попал, почему-то другой контекст соложеницынского отношения к Ленину. Автор приводит слова Шмемана, сказанные Солженицыным о. Александру в Цюрихе, что в романе писатель «с трагическим восхищением» примеряет на себя образ Ленина. Здесь прочитывается идея глубокой симпатии к личности Ленина со стороны Солженицына, к его «одиночеству и ярости». — Сараскина Л. И. Солженицын. М.: Молодая гвардия, 2018. С. 730.

¹⁰ «Архипелаг» Солженицына — Дантово видение и хождение. Но без язычника Вергилия... Это художественно предвидел Достоевский. Солженицын удостоверяет правду пророчества: свиньи гадаринские сверзлись на Россию, пред тем как утонуть в «мировой пучине». — Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). Русский реализм // Архиепископ Иоанн Сан-Францисский. Избранное. Петрозаводск, 1992. С. 343.

нищина после публикации рассказа «Один день Ивана Денисовича» в «Новом мире». И писатель оказался готов воспринять эту информацию, и облечь этот пафос и коллективный голос эков в особые масштабные литературно-художественные формы. В этой связи чрезвычайно важна оценка Солженицыным своего лагерного опыта: как проклятия или благословения Бога? Сам писатель свидетельствовал: «Свои одиннадцать лет, проведенные там, усвоив не как позор, не как проклятый сон, но почти полюбив тот уродливый мир...»¹¹. На любви к «уродливому миру» и был выстроен «Архипелаг ГУЛАГ».

Еще до присланных корреспонденций, Солженицын бредил общей структурой будущей большой книги о лагере, ее сложной архитектоникой и огромностью тем и сюжетов. Уже тогда он понимал, что это будет не роман и не повесть, но что-то очерковое, хотя и не столь легковесное. Думается, писатель не решился утяжелить подзаголовок «Опыт художественного исследования» еще словом исторического, потому что посчитал, что и слова «исследование» будет достаточно. Словом, вся художественность этого произведения была условной, она лишь снимала утяжеляющие текст подробное и масштабное (с нередким уходом в историю) изложение фактов гулаговской действительности. Но именно художественность позволила решить, судя по-всему, главную задачу — показать образ ГУЛАГа целиком, как страшное чудовище во всей его эстетической безобразности, о чем писал В.К. Тредиаковский: «Чудище обло, озёрно, огромно, стозёвно и лаяй».

Эта книга очень похожа на дневник, полный глубоких размышлений «для себя»; есть здесь что-то от энциклопедии, куда автор собирает всё доступное по лагерной теме; напоминает она и исторический очерк, с минимумом справочного аппарата, с облегченным для широкого читателя текстом. Но все же в первую очередь, для самого автора — это «подробная записка» для потомков, крик души человека из прошлого: «не забудьте», «не ходите больше этим опасным для человечества путем», «не прикасайтесь к моим помазаным» (в данном случае, речь идет об уникальности и даже святости человеческой жизни и свободы).

Как писатель строит «Архипелаг»? Переведем формализованный язык оглавления на язык художественных образов, выявив необходимые смыслы». Все три тома книги можно поделить на три больших темы: 1) Организаторы ГУЛАГа; 2) Насельники ГУЛАГа; 3) Пространство ГУЛАГа.

Внутри первой темы, заметно выделение а) статических характеристик — лагеря как фабрики смерти, или же как вида промышленности; и б) динамических характеристик — коммуникационные характеристики лагерной системы. Вторая тема также состоит из двух частей: а) антропология лагеря, раскрываемая в основном через тему «телесность в лагере»; б) психология в лагере, куда входит все, включая и духовную жизнь. Третья тема, апеллирующая к пространству имеет тоже части: а) формотворчество ГУЛАГа; б) вектор развития пространственных форм.

Посмотрим, как *коррелируются* эти структуры друг с другом. Организаторы производства ГУЛАГа сопрягаются у автора с понятием «машина», насельники — с «душой», пространство с формой и направлением движения. Итак, машина — душа — движущаяся форма. Машине нужна душа и движущейся форме нужна душа. И то, и другое интересно в душе. Машина и движущаяся форма странным образом близки друг другу; последняя очень напоминает машину, ведь та тоже «движущаяся форма». Но чем же они тогда различны? Что делает их разными, хотя и стремящимися к одной и той же цели — к душе? Разными их делают, как это не странно, ни они сами, а — душа. Только она и позволяет понять, что эти две ипостаси не одно и то же. А это говорит о том, что разница их не качественная, а количественная. Они просто 1 и 2. А вот душа — это нечто другое. К ней, а не к друг другу стремятся машина и движущаяся форма. Душа является подлинной реальностью, истиной, которая и притягивает не истинные сущности.

Наличие подлинности символично; ее преодолевают с двух сторон две количественные силы, причем одна из них *уже показала* свое машинное лицо, а другая пока *скрывает*, поскольку она еще «вектор», она не участвовала в некоей практике, где душа принуждалась жить расщепленной (на гендер, возраст профессионализм и т.д.) телесной жизнью, отдельной от души. Что будет далее, вопрос пока открытый, но он ставится в романе, не как вопрос праздный и риторический, а как вытекающий из подлинного знания лагерной реальности. Эту двойную атаку на душу, по Солженицыну, можно было ощутить уже тогда в лагере. Уже там душа атаквалась неподлинными сущностями с двух сторон, из настоящего и из будущего. Но атака из будущего была скорее виртуальна, поскольку под нее не было выстроено ничего подобного «машине», она лишь грозила и указывала на то, что она есть и будет.

¹¹ Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. Т. 5. С. 8.

Такова, на наш взгляд реальная мифология книги «Архипелаг ГУЛАГ», за которой стоит А.И. Солженицын, как пророк, хотя и светский пророк, который описывает будущую катастрофу, исходя из глубокого видения настоящей катастрофы. Религиозный пророк дал бы в этом случае некую «апокалиптическую картину», полную «громов и молний»; писатель же формирует образ будущего, исходя из антропологии человека, ориентируясь на душу человека.

*Учительная линия
у А.И. Солженицына*

Роман «В круге первом»

Это направление мысли и мировоззрения описывается, прежде всего, на толстовство, где в основе лежит отказ от пророческого служения в угоду учительству, моральному назиданию, обличению несовершенного настоящего. Собственно, только в одном своем произведении Солженицын поднимается до пророческого уровня — в «Архипелаге ГУЛАГе», во всех же остальных, он учителствует. В особенности это проявляется в романах «В круге первом» и «Раковый корпус».

Писатель видел в народе две силы: а) одна поддалась советской власти и стала рабски покорной ей, была обработана идеологически и сама стала участвовать в советизации общества. б) другая сила была настроена оппозиционно к советской власти, но характер этой оппозиционности оказывался очень разным; от прямой «белогвардейской» враждебности до простонародной, крестьянской глухой оппозиции колхозным и прочим реформам, т.е. от единичных форм массовых — народных. Дальше логика писателя такова: при благоприятных условиях (наступления немецких фашистов на страну) все оппозиционные силы готовы были включиться (вместе с немцами) в силовое противостояние советской власти. То есть Солженицын настаивает на том, что власовскими настроениями была проникнута вся оппозиционная группа от единичных непримиренцев до простонародной русской многомиллионной массы.

Однако, для тех ученых, кто работал по теме трансформации социальных структур в советское время и особенно в 1920—1930-е годы, совершенно очевидно, что это не так. Во внутренней России в эти годы сохранялась немалая по численности группа «бывших» (осколки, прежде всего, дворянского и купеческого сословий), а среди народа — крестьян, которые были лояльны к советской власти, но при этом не втянуты в идейное пространство преобразования сознания. Эти люди считали СССР наследницей исторической России, своим Отечеством, ныне тяжело больным, но также нуждающимся во внешней защите от своих извечных

врагов. Никакой другой Родины эти люди не видели для себя и не хотели видеть. Причем, часть из них до Великой Отечественной войны уже прошла через горнила репрессий, но и после того сохранила свои убеждения. Это и была самая духовно здоровая, самая корневая часть русского народа, соль земли, исчисляющаяся в целом не тысячами даже, а миллионами.

Власовцы же внутри страны, складывались в массу своей из другой категории людей; в единичном плане, также частично из «бывших» (но в гораздо меньшем числе, чем первые — патриоты страны), в массовом плане — из числа того советского простонародья, которое уже успело идеологически обработать советская власть, убив в них почвеннические ростки в пользу космополитизма мировой революции, дезориентировав их в самых важных духовных и социальных вопросах: в отношении к Богу, к семье, к истории, к предкам, ко всей прошлой традиции. Таким же человеком без внутреннего стержня (который вынула из него советская власть, потому что слишком глубоко ей проникся) был и сам Власов. Абсолютное большинство рядовых власовцев, из числа пленных, по моему глубокому убеждению, принадлежало к той категории советских граждан, которым «что воля, что неволя всё равно» и таковыми их сделала советская власть, а не оппозиционное к ней отношение. Именно советская власть формировала такой тип «гутаперчивой коллективной личности», в которой не было партийного фанатизма, а горение обеспечивалось лишь нахождением с близким ей источником огня. Пока были рядом советские контролеры, человек готов был трудиться, но как только обстоятельства изменялись, возникала ситуация выбора, то сразу же у такого человека оставалась одна единственная ценность — его драгоценная жизнь. Она лишь согревала его. Идейный коммунист, подожженный партийным огнем изнутри, мог гореть и в автономном режиме; даже в плену. Но человек из простого народа, которого сумели обольстить верой в безбожие, верой в материальное благополучие коммунизма, верой в то, что личное и семейное благополучие не стоит и гроша ломанного в сравнение с государственным благополучием, — такой человек в трудной, критической ситуации, будучи если не пустым внутри, то дезориентированным, не имея внешнего подогрева, конечно, готов был ради сохранения своей жизни на что угодно. Это была почва для власовского движения, подготовленная всей советской системой пропаганды и самой жизни.

Интересно, что эмигрантское власовство тоже в массе ведь возникло на почве отсутствия *рядом* огня Отечества, у тех, у кого не был он зажжен

внутри. Те же, кто принял власовство из идейных соображений (как генералы Шкуро и Краснов), конечно, имели внутренний огонь и тем печальнее то, что они использовали его для войны со своей Родиной, думая, что Гражданская война продолжается. Но нельзя было не видеть, что это была интервенция более масштабная, чем в 1918 г. Солженицын, живя в США, живо ощутил эту огромную силу симпатий к власовскому движению со стороны русской эмиграции, существующей на почве антисоветизма, и конечно, все это повлияло на него и позволило получить поддержку своему антисоветизму со стороны этого крыла¹². Антисоветизм, как и советизм был и формой идейного оболыщения, когда суть — почва — растворяется, и подчиняется идейной борьбе. Поэтому антисоветизм являлся подлинной почвой для идейного власовства, хотя, конечно же, эмигрантский антисоветизм нельзя сводить к власовству, он гораздо шире и сложнее. Он был идейный (и власовство свило себе гнездо здесь), культурный (как у И.А. Бунина) и религиозный, в котором, как и в идейном существовала определенная среда для власовских настроений. То есть, чистым от власовства был только культурный антисоветизм.

Судя по 2-й главе «Архипелага ГУЛАГ», Солженицын лишь в общих чертах представлял себе ситуацию с репрессиями *в отношении сословий* в 1920-е—1930-е годы. Мы только сейчас плотно подходим к этой теме, хотя за последние 25 лет накоплено очень много научного материала. Во время написания этой главной книги Солженицын, конечно, не обладал всей необходимой информацией, поэтому «сословные потоки», движущиеся в лоно ГУЛАГа у него намечены схематично, в отличие от политических потоков. Только тщательно прорабатывая вопрос оппозиционности и лояльности советских граждан к власти внутри страны, можно почувствовать и увидеть наличие «третьей силы», не относящейся ни «рабам», ни к «предателям».

Два крупных произведения были написаны на одну лагерную тему — «В круге первом» и «Архипелаг ГУЛАГ», но как по-разному, автор распорядился в том и другом случаях лагерным материалом. Первый, совершенно ясно, служит делу обличения этого страшного явления, он весь в актуальности настоящего и законы жанра, обличения несовершенного настоящего требуют

выдвижения на первый план нравственной тематики, этического компонента. «В круге» сразу с первых страниц проглядывает пушкинская тема «маленького человека перед лицом государства», столь образно озвученная поэтом в «Медном всаднике». Но заметим, Пушкин не поддерживает Евгения, не симпатизирует ему, когда выражает в начале поэмы слова любви к Петербургу: «Люблю тебя Петра творенье...». Пушкин любит и Петра, и Петербург. Любовь к городу объясняется тем, что Петербург прекраснее Москвы: «Померкла старая Москва, как перед новою царицей порфиноносная вдова». Чем же нелюб Евгений автору? Нелюбовью Евгения к городу и его основателю Петру I, своим отношением к памятнику основателя города, как к «кумиру» — идолу, который продолжает, по мысли Евгения, держать в своих руках эти места. Евгений — «маленький», не потому что он бедный или убогий, а потому что он раздавлен своим полужызыческим суеверием, бедностью духа, своим «буржуазно-мещанским» отношением к жизни. Отсюда идет у Евгения непонимание дел Петра, его величия и служения. И даже красота города не способна пробудить в Евгении высоких чувств и вселить в его сердце благородство. В своей мелкой злобе Евгений может лишь погрозить памятнику кулаком, но тут же, боясь возмездия, он бежит прочь, и уже до конца жизни не смеет даже глаз поднять наверх, когда случается ему пройти мимо этих мест. И умирает он безвестно и бесславно, будто он часть того хлама, который был разрушен стихией.

У Солженицына — Евгений — это Иннокентий Володин. Но соответствие это возникает не по воле автора, который хочет видеть Иннокентия персонажем куда более высоким и значимым, чтобы оправдать его вызов власти. В начале романа образ власти привязан к линкору, а сам Володин связан с торпедой (он — «смертник»), направленной на линкор и взорвавшей его. То есть с самого начала, здесь не пушкинская расстановка сил. Нет личной симпатии автора к власти, а значит все симпатии автора на стороне «маленького человека». На маленького человека у Солженицына большие надежды. Маленький человек у него олицетворяет ни больше, ни меньше как самого Христа. Отсюда и «линкор», как корабль военного назначения. Обычно, в христианской символике корабль связан с Церковью, но если корабль из

¹² Например, эта тема была хорошо раскрыта Солженицыну в переписке с жившим в США князем А. Щербатовым, записки которого содержат интереснейшие сведения по власовским настроениям среди русской эмиграции как до войны, так и после. Князь симпатизировал деятельности Солженицына — Князь А. Щербатов, Л. Криворучкина-Щербатова Право на прошлое. Изд. Сретенского монастыря, 2005. С. 464—465.

обычного стал военным, т.е. употребляемым на мирские цели, значит что-то с ним серьезное произошло, он перестал служить духовным целям. В этом случае такой герой, который Сам создал корабль и может им распорядиться, должен решить судьбу изменившегося сооружения.

Итак, с самого начала мы вынуждены признать, что Солженицын в своем авторском замысле идет наперекор неким объективным обстоятельствам, насильно выдает одного героя за другого, имея одну свою цель — разоблачить власть. И сразу это разоблачение натывается на наше недоумение и сопротивление автору (из-за его симпатии герою). Когда Иннокентий дозванивается до американского посольства, он призывает военного атташе не бросать трубку словами: «Речь идет о судьбе вашей страны!». Не «нашей страны», а «вашей страны», а значит забота «маленького человека» не о своей стране, а о чужой. Чтобы не была испорчена жизнь Запада, чтобы коммунизм туда не пришел, вот о чем беспокоится Володин, когда решается предать свою страну. То есть даже в смысловой своей части его мотивация имеет не сугубо духовный, а материальный характер. Такая позиция, кстати, подтверждается позже в тексте философскими рассуждениями того же Володина. «Христос», как скрытый за фигурой Володина герой, должен вести двойную игру: оправдывать перед соотечественниками предательство Володина и второе — спасти Запад от особого языка советской идеологии.

Володин — главный герой романа, как бы ни спорили критики и литературоведы, потому что Володин завязывает главный узел, и он его развязывает. Он натягивает струну, которая начинает звучать для всех, и каждый из многочисленных героев дает свой ответ на это звучание. Лучшие из героев — Нержин, Герасимович и др. присоединяются к Володину, разделяя его путь; они также бросают перчатку в лицо государству и удаляются в недра «ада» для получения наказания за бунт. Другие же, даже те, кто претендовал на союз с истиной (Сологдин, Рубин, Спиридон и др.) — остаются за стенами ада, очевидно, чтобы в будущем навсегда потерять искру веры.

Володин аккумулирует в себе все лучшее в романе: все лучшие качества Нержина переходят на Володина, потому что тот выше, он делает первый шаг, он первенец на пути преображения. Но это в идеальной проекции, в проекции, запланированной Солженицыным, где за Володиным поставлен Христос. В реальности же фигура Володина складывается из других компонентов. Зададимся сразу

основным вопросом: за счет какого потенциала Володину возможно было так накалиться, чтобы а) предать страну; б) возненавидеть власть; в) не побояться за себя. Надо было быть или белогвардейским эмигрантом, непримиримым к советской власти, боровшимся с ней всю жизнь; или человеком, которого советская власть очень сильно обожгла и обидела, духовно сломала, оставив у него в душе только нехристианское чувство мести. Возможен был и третий вариант «национальной мести», но он, в данном случае сразу отбрасывается. Не подходят сюда и первые два варианта. Преображение героя автор выводит из двух источников: 1) Володин пресыщен телесной жизнью; 2) из жизненного тупика его выводят документы покойной матери и главным образом ее дневник «Этические записки», очевидно, написанные с толстовских позиций. В записках следует разъяснение, что такое жалость (как неучастие в несправедливости). Словом, эти высокие, красивые слова, да еще от лица покойной матери настолько взволновали сердце Иннокентия, что он начал двигаться по пути преображения, «открывать для себя духовную мать Россию»¹³. Далее, он набрался «мудрости» за границей (как дипломат), читая публикации эмигрантов, и созрел в своем понимании зла, так что сумел потом отделить понятие «власти» и саму власть от страны России. В знаковом разговоре на природе с Кларой (на виду всей России) Иннокентий объясняет ей, что такое «круг первый». Это совсем не из Данте, как принято думать о названии романа, хотя без Данте тут не обошлось. «Вот видишь круг? Это отечество. Это первый круг. А вот второй. — Он захватил шире. — Это человечество. И кажется, что первый входит во второй? Ничего подобного! Тут заборы предрассудков. Тут даже — колючая проволока с пулеметами» (гл. 44).

Много в романе и других мест, где автор берет на себя смелость оправдать предательство Володина некими идейными мотивами. Автор все время проводит мысль: «а что считать предательством?» У самих положительных героев, предательство рядом с ними, они знают ему цену; у Нержина изменяет жена, у Володина — тоже; символическим выглядит суд над князем из «Слова о полку Игореве», где тема предательства в центре всего. Автор словно хочет показать, что все вокруг пронизано предательством, но главных героев оно не касается. Изменилось само содержание понятия «предатель», говорит нам автор, и это надо учитывать. Вот одно последних размышлений Володина

¹³ Краснов В.Г. Солженицын и Достоевский. Искусство полифонического романа. М., 2012. С. 82.

на свободе, незадолго до ареста: «мы уже в той темноте, что не отличаем изменников от друзей. Кто князь Курбский? — изменник. Кто Грозный? — родной отец. Только тот Курбский ушел от своего Грозного, а Иннокентий не успел. Его бы объявили — соотечественники с наслаждением побьют бы его камнями! Кто бы его понял? — хорошо, если тысяча человек на двести миллионов...» (г. 85) Куда уж яснее может быть этой авторской позиции, выраженной через героя.

Если мама Иннокентия «из-за гроба» открыла глаза сыну, как пишет об этом автор, то ее брат, родной дядя Иннокентия открыто призывает его к предательству и апеллирует к первоисточнику — Герцену, не одно десятилетие трудившего под британским крылом и на их средства для разрушения русской монархии. С цитатой из Герцена мы и расстаемся с главным героем Володиным, когда следователь первый раз вызывает его на допрос. О Герцене же говорит и дядя: «Где границы патриотизма? Почему любовь к родине надо распространять и на все ее правительство» (гл. 61). Герценовский взгляд на патриотизм Солженицын и берет за основу поступка Володиного, который предупреждает американцев (правительство, власть) о готовящейся советской спецоперации по передаче секретной информации о технологии изготовления атомной бомбы. При «плохом» Сталине предательство допустимо, как оно было допустимо с точки зрения Герцена при «плохом» Николае I. По герценовской методике, определяющей смысловое понимание «любви к родине» главным героем И. Володиным, правитель (и власть) вообще должны быть исключены из пределов ответственности личного гражданского самосознания. Их не грех и обмануть, в том числе и предать, если человеку покажется, что так будет лучше для человечества. Разрушение круга первого, чем и занят, просвещенный матерью и дядей И. Володин, есть насущная задача, необходимая человечеству и мы знаем, что у этой задачи может быть разная идеологическая платформа. Она может быть советской — ленинско-троцкистской («мировая революция»); западной — финансово-глобалистской («мировой порядок») и может церковной — православно-христианской. А.И. Герцен выступал как откровенный западник, хотя и не разделявший многие буржуазные идеалы, но объективно все же работающий на эту модель. Не случайно же, Солженицын получил мировой успех и главную западную премию за этот роман, ясно указывающий

«что есть истина». И хотя на Западе Солженицын увидел другой мир, ставший также объектом его критики, но книга «В круге перовом» уже жила и до сих пор живет своей жизнью, над которой автор уже был не властен.

Высказав главное, касающееся идейной акцентировки главного героя, следовало бы далее обратиться к теме искусственного насыщения образа Володиного христианскими чертами и даже чертами Христа. Этим приемом, на наш взгляд, автор и пытается в значительной степени решить проблему оправдания предательства главного героя и даже перекодировки «предательства» в «подвиг». Выше уже говорилось о том, что очень много из этого багажа Володин получает за счет Нержина. Но и сам он, постепенно раскрывает свой духовный потенциал, указывающий на это. Много талантливых критиков и литературоведов поддерживают Солженицына своими работами. Одна из таких книг была написана американским автором В.Г. Красновым, в прошлом гражданином России. Автор опирается на идеи М.М. Бахтина, его понимание полифонического романа, по мысли Краснова близкого и даже воплощенного в реальность Солженицыным. Идея Краснова проста; он пытается доказать полифоничность романов Солженицына, что автоматически должно указывать на их системную близость с романами Достоевского. Краснов исходит из того, что сам Солженицын признавал эту связь и сам считал Достоевского фундаментом своего творчества¹⁴. По Бахтину образ Христа создает полифонию, венчает хор голосов: «В образе идеального человека или в образе Христа представляется ему разрешение идеологических исканий. Этот образ или этот высший голос должен увенчивать мир голосов в романе, организовывать и подчинить его»¹⁵. Таким лицом, считает Краснов, в романе является Нержин, как главный герой, поэтому к нему сходятся все нити романа. Критик допускает эту мысль, потому, что сам автор романа вносит определенный произвол, нарушающий объективные законы мира. Скажем, у находящегося на зоне, в шарашке Нержина нет реальной возможности выбирать участвовать ли ему в проекте или нет, но авторской волей он поставлен перед этим выбором. Также и Володин; по своему потенциалу, не может быть способен к свободному выбору и принятию такого ответственного как звонок в посольство, но он это делает. В понятии критика Краснова Глеб Нержин подобен Алеше Карамазову, литературному герою из числа хриstopодобных. Он — мостик

¹⁴ Краснов Указ. соч. С. 8.

¹⁵ Там же. С. 76.

между всеми, всех мирит, всех объединяет, он даже «лучше Алеши Карамазова (!)», т.к. «более активен». Но и Володина, как наиболее близкого, по духу, к Нержину персонажа, Краснов сравнивает с Христом, опираясь на слова романиста: «С высоты борьбы и страдания (где они эти борьба и страдания? — О.К.) куда он вознесся, мудрость великого материалиста оказалась лепетом ребенка, если не компасом дикаря». Из чего Краснов делает свой окончательный вывод о мировоззрении Володина, остается непонятным: «По сути, это христианское мировоззрение, в котором однако, нет никаких признаков церковности и догматизма. Оно может быть православным или нет, но его генетическая связь с христианской духовностью старой России несомненна»¹⁶. И хотя критик не находит у Достоевского прототипа Володина (исходя из своего понимания этого образа), в действительности образ бескорыстного предателя — «ради идеи» — у Достоевского есть, это Смердяков, из «Братьев Карамазовых». Образ «ложного Христа», не анти-Христа, а именно ложного, противоположного тому, что воплощает в себе Алеша Карамазов, делает Смердякова особым лицом, к которому тоже сходятся все нити романа, но не для того, чтобы связать героев воедино и создать гармонию, а наоборот — чтобы разъединить, оттолкнуть героев друг от друга. Этот сильнейший источник хаоса не видимый внешнему глазу, но интенсивный и самое главное, не имеющий собственной энергии, а играющий на слабостях и противоречиях других становится заметным глазу только в конце романа, когда наступает развязка. Одна из основных черт Смердякова, это готовность к идейному предательству. Володин, как главный виновник возникшего хаоса, подтолкнул всех других героев к решительным поступкам: кому-то, как он помогает также бросить вызов государству, чтобы оно не стало сильнее США; кому-то — принять участие в поимке виновных и невиновных людей, кому-то — постараться еще больше «закрутить гайки» и т.д. Володин — такой же ложный Христос, как и Смердяков, потому что он не созидает и связывает, а разъединяет героев, он пытался не как Достоевский красотой спасти мир, а как Л. Толстой делать это разрушением. Интересно отметить, что Сталин в романе, как он ни отрицательно написан автором, в силу сугубой личной неприязни автора к нему, нигде и никак не претендует на лавры Христа, хотя это было в большевистской традиции, быть антиподами христианства. Но и здесь автор не может себе позволить такую «роскошь».

В Володине, безусловно, есть большой *аннигиляционный* потенциал, он готов и готов всасывать в себя как в черную дыру новых героев (предательство заразительно, особенно идейное), вот почему в этом герое можно найти черты и Чичикова, гениально раскрытые Гоголем в «Мертвых душах». Чичиков, конечно, никого не предает, но он разрушает ту жизненную серьезность и основательность, что присутствовала в помещичьей традиции, как служилой традиции. Он создает атмосферу карнавала там, где должен по жанру быть порядок и главенствовать устои. Чичиков же своей парадоксальностью, пропущенной сквозным образом через все тело помещичьего быта, повседневности и пространства, как бы заставил всех застыть в недоумении и задаться вопросом: как здесь быть, как поступить с этим парадоксом. Зрителю оставалось лишь наблюдать за тем как, как живые люди действуют почти как куклы, как комические персонажи, такие символические и неповоротливые, ограниченные в движении.

Володин как и Чичиков возникает из небытия, он такое же *ничто* как гоголевский герой и он также сквозным образом пронзает все пространство жизнедеятельности героев романа, от обитателей шарашки до верхушки Кремля. И все засуетились, забегали с такой невероятной скоростью. Чичиков-Володин купил несколько мертвых душ — Нержина, Герасимовича и др.; разворошил весь помещичий (начальственный) заповедник, так что и Сталин стал смешон своими мыслями вслух и мордобой, устроенный подчиненным стал не только трагическим, но и смешным; ээки в были также ярко представлены со стороны «праздничной культуры»; и даже арест и первый день Володина в тюрьме выглядел не только трагически, но смешно и нелепо. И заметим, что эта несерьезность не соотносится с бахтинской карнавальностью, народной по своей природе, она скорее идет от социальной и политической сатиры, с ее плакатностью, плоскими формами и односторонним смыслом. Но и, конечно, она не стихийна, а рукотворна.

У Достоевского, как и Гоголя, карнавальность, как стихийность создаются не для смеха и тем более не для сатиры, а для контраста добра и зла, чтобы очертить границы амбиций зла, его размах и силу, который сейчас (когда писатель его заметил) еще смешен, но за этим смехом стоит великая трагедия, которая может случиться с целым народом. Так ли емко ставит проблему здесь Солже-

¹⁶ Там же. 86.

нищин, такова ли его народная стихия в романе? Конечно, нет! Народностью Спиридона проблему не решишь, тем более, учитывая, что Спиридон симпатизирует Нержину и тем самым косвенно, симпатии народа отдаются и Володину — противнику атомной бомбы. У Солженицына видимость карнавала запускается для других целей; снять идеологическое напряжение, заостренность жанра социалистического реализма, т.е. имеет вторичные, чисто технические задачи.

Не забудем и того важного факта, что в шарашках в это время сидело огромное число лиц, которые в абсолютном большинстве своем смотрели на свой интеллектуальный труд, направленный на укрепление обороноспособности страны не так как Нержин. Об обстановке в этих коллективах мне лично приходилось слышать почти из первых рук. По рассказам М.М. Громыко, сестра ее была замужем за Д.Д. Севруком — заместителем известного конструктора космических аппаратов В.П. Глушко. Целая группа физиков и математиков, вернувшихся после заключения, была собрана в Казани, до отправки их в Подмоскowie, в шарашку. М.М. Громыко хорошо знала эту среду, включая и самого С.П. Королева. Все эти люди, хотя и прошли лагеря и ссылки, но оставались патриотами своей страны и задачу повышения обороноспособности понимали однозначно, как свой личный вклад в укрепление границ России. Вопрос о предательстве даже в такой витееватой форме как это представлено в романе, для них не стоял. А ведь это была тогда техническая элита и по ним мы должны судить о настроениях бывших заключенных!

Литературовед Краснов посвятил целую главу в монографии доказательству того, что роман «В круге первом» соответствует критерию полифоничности, каковая есть в произведениях Достоевского, а это указывает косвенно на подлинность идеи, на реализм происходящего в нем. Однако, эти доказательства не убедительны. В полифоническом романе отсутствует главный герой, у Солженицына же он есть. Он хотя и прячется за другими персонажами — более разговорчивыми персонажами (даже по объему текста), но все равно он заметен. Голос писателя Солженицына не сливается с героями, не растворяется в них, а явно и очевидно присутствует; Солженицын все время себя демонстрирует в главном герое — Володине, но тщательно это скрывает. Его главный герой

кроме того, что он сконцентрирован на одном человеке, получает дополнительные характеристики от других положительных персонажей — от Нержина, Солодина, Рубина, Спиридона. В романе есть, по сути, два главных героя, с конкретной биографией и подлинной экзистенцией (душой) это — Володин и Сталин. Все другие герои не имеют своей экзистенции и лишь дорисовывают характеристики, одни работают на образ Володина, другие на образ Сталина. Это такой древнеегипетский способ нарисовать фигуру человека, обозначив его и фас и профиль в одной плоскости. Нет в романе полифонии скрытых голосов; они все открыты, а скрыт только один голос. И это насилие над полифонической формой.

Роман «Красное колесо»

Этот роман — самый объемный у Солженицына, самый крупный в мире, был очень дорог писателю. С замысла о нем начиналась его творческая биография, этим роман и закончилась земная жизнь писателя.

В замечательной статье Г.П. Федотова «Россия Ключевского»¹⁷, написанной мыслителем за рубежом в 1932 г., к 20-летию кончины историка, есть объяснение того, что стержневой курс истории написан Ключевским *без учета духовно-церковного фактора*, хотя у Василия Осиповича и были отдельные работы, посвященные Церкви и святым. Г.П. Федотов объясняет это особенностями метода написания курса истории; поскольку социологический метод не давал такой возможности. Историк при этом сумел оживить исторические фигуры, сделать их яркими и образными, используя свой художественный талант, хотя указанный метод этого также не предусматривал. Но, нам думается, не случайно, что в одном случае Ключевский «использовал свой художественный талант», а в другом случае, не мог позволить себе нарушить каноны метода. Если учесть своеобразный взгляд Ключевского на «народ», как на субъект исторического процесса, а также обратиться к дневникам, где историк очень грубо и хлестко высказывается о Церкви, о монархии, о русских царях, то станет понятной и объяснимой такая выборочная тактика историка¹⁸.

И это при том, что им написана, по словам Г.П. Федотова, «единственная Русская история, на которой воспитаны два поколения русских людей». И если учесть то, что Ключевским замыкается до-революционный этап, то надо понимать насколько

¹⁷ Федотов Г.П. Россия Ключевского // Федотов Г.П. Судьба и грехи России / избранные статьи по философии русской истории и культуры. Сочинения в 2-х томах. СПб: «София», 1991. Т. 1. С. 329—348.

¹⁸ Ключевский В.О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. М.: Мысль, 1993. С. 385,—387, 389, 401—403, 407.

ко велико значение этого историка для всего XX в. Оценка Г.П. Федотовым самого становления и развития Ключевского заслуживает особого внимания, так что стоит ее привести. Автор выводит Ключевского из плеяды деятелей, выросших на почве либеральных реформ императора Александра II. Сегодня появились работы, которые позволяют увидеть в какой непростой обстановке были затеяны эти реформы и насколько сильно они зависели от некоего «общественного мнения», выраженного впервые дворянской аристократией, получившей вместе с прекрасным образованием «вирус интеллигентности», заставляющий смотреть критически на все цельное, органичное и в особенности, имеющее опору в монархии и самодержавии¹⁹. К тому же обстановка после кончины императора Николая I была гораздо сложнее, чем в 1825 г. Это и послужило причиной того, что новый император Александр II с самого начала был поставлен в крайне жесткие условия: или он принимает на себя поражение в Крымской войне и оправдывает всю политическую линию своего отца, приведшую к этому поражению (так ставит «общество» вопрос), или же он дает России шанс выйти на новый путь развития. Так царь «выбрал» путь реформ. То есть либерализм, как нам представляется, не был «выходом из положения», «шагом в сторону прогресса», «осуществлением реформ, в которых давно нуждалась страна», а был своего рода умело выстроенной ловушкой, в которую попал и царь и с ним вся Россия. Вот почему, как отмечает историк И.Е. Дронов, создается впечатление, что Александр II действовал не в обстановке свободы выбора и действий, а скорее — в тисках зависимости и ограничений. Либерализм не давал ничего сверх того, что Россия до этого имела; он не помогал наладить нормальное функционирование финансовой системы, не давал возможности нормально заниматься армией и т.д. В этой системе главным было ожидание новых свобод и снятия новых ограничений под гарантии будущих успехов. По сути, так называемое общество все время шантажировало царя, и не случайно, к этому шантажу скоро подключились и революционеры, и скоро их активность достигла террористического уровня.

Из такой вот бурлящей свободомыслием России и появился историк В.О. Ключевский, «шестидесятник», вкушивший «меда свободы», в котором уже присутствовало и пренебрежительное

отношение к государству и власти, но — и уважительное отношение к обществу и народу. Г.П. Федотов боится назвать Ключевского нигилистом (!), но, говорит, что на нем была «метка нигилизма». При том, что аргюи историк не любит императорской России, он еще и своеобразный славянофил. Он строит социальную историю в отрыве от достижений юридической школы, от вписывания структуры социума в правовой каркас (в обществе и государстве). От этого «понятия у него расплывчаты», а «формально-логическая структура слаба». Ключевский работает в рамках марксистской парадигмы борьбы классов, роль которых у него выполняют сословия. Именно этот подход, как было уже замечено, не позволил Ключевскому использовать духовно-церковный фактор. Так осторожно говорит Федотов, хотя речь идет о том, что Ключевский отказался даже от механического подхода Карамзина и Соловьева, когда церковный фактор рассматривался вместе с другими компонентами, как часть общей системы. У Ключевского нет даже «системы», не говоря о том, что его «единственная русская история» вся построена на материалистическом фундаменте, где главное — деньги и климат.

В лице В.О. Ключевского впервые история России пишется не историком-государственником и впервые главным героем истории становится не страна, как целое, а народ. Как писал В.А. Александров, рисуя научный портрет самого крупного русского и российского историка: В.О. Ключевский «решиительно порывал с теоретическими установками господствовавшей тогда (Ключевский начал преподавать в МГУ, заняв место С.М. Соловьева с 1879 и по 1911 гг.) “государственной школы”, представители которой утверждали руководящую роль государства в организации народной жизни. Ключевский приходил к иному, обратному пониманию соотношения роли народа и государства... Создание государства он видел “делом народности”...»²⁰. Однако, если мы взглянем пристальнее в народолюбие Ключевского, то увидим, что понимание народа у историка отличалось от церковного; здесь не звучало понятий «народ Божий», «великий народ, создавший самую крупную поместную Церковь, сотворивший великое государство и культуру». Ключевский понимает народ как стихию, которая долгое время может действовать как слепая природная стихия и лишь когда станет образованной в своих многомиллионных единицах

¹⁹ Дронов И.Е. Сильный Державный. Жизнь и царствование императора Александра III. М., 2017.

²⁰ Александров В.А. В. О. Ключевский // Портреты историков. Время и судьба. В 2-х томах. Москва-Иерусалим, 2000. Отв. ред. Г.Н. Севостьянов и Л. Т. Мильская. Т. 1. С. 84.

(т.е. атомизируется), только тогда станет по-настоящему народом культурным и великим. В русском народе, считает Ключевский, нет пока (на 1867 г.) никакой тайны, никакой красоты, ничего достойного, чтобы перед ним преклоняться, как это делает сейчас народническая часть интеллигенции. «Благоговение возможно только перед сознательной духовной силой», но пока еще русский народ, с точки зрения историка, действовал бессознательно, лишь ради спасения жизни, живя и руководствуясь только чувством самосохранения. Ключевский считает, что народ прошел еще только этап «материальной борьбы за жизнь» и «было бы напрасно искать в ней свойств духа человеческого, имеющих вечное и общее значение, дополняющих развитие его неисчерпаемого содержания»²¹. Получается, вся русская история созидалась бессознательно, вслепую и мотивирована она только полуживотным чувством самосохранения. Тот же самый эгоизм, как и у Л.Н. Толстого, лежит в основании человеческого прогресса. Ключевский озвучивает идеи писателя и кладет их в основу механизма развития русской истории. В статье В.В. Розанова, посвященной Л.Н. Толстому, публицист пишет (для западной аудитории), что Толстой «не понял или, лучше сказать, просмотрел великую задачу, над которой трудились духовенство и Церковь девятьсот лет, — усиливалось и было чутко и умело здесь, и этой задачи действительно чудесно достигло. Это выработка святого человека, выработка самого типа святости, стиля святости; благочестивой жизни»²². А Ключевский разве не «просмотрел великой задачи», которые решал *русский народ* на протяжении всей истории? Та же близорукость в главном вопросе!

Прот. Георгий Флоровский выделял в толстовском мировоззрении такую важную черту как «нечувствие исторического»: «Толстой борется с историей как таковою, — с самым фактом исторического процесса... протестует против самого существования истории»²³. Чем-то близким, по смыслу занимался и В.О. Ключевский, когда писал свои исторические сочинения, полные «нигилизма здравого смысла». Его история писалась не из истории, не из исторического факта как такового, а из психологии человека, выдуманного историком Ключевским, из нравственной коллизии в

человеке. То же самое, со слов о. Георгий Флоровского делал и Толстой: «Он искал пояснений всех явлений жизни и всех вопросов совести в себе самом, не зная и не желая знать ни эстетических, ни философских пояснений, не признавая никаких традиций. Ни исторических, ни теоретических, полагая, что они выдуманы нарочно людьми для самообольщения других»²⁴. В.В. Розанов тонко привязал такой уход от духовно-религиозной мотивации в моральную сферу к интеллигентности: «Интеллигентность — это, правда, нечто "духовное", но это бедно духовное; это — бедность именно в самом духовном, какое-то умственное мещанство»²⁵. Стоит, как мне кажется, связать воедино всю эту цепочку: исторический нигилизм, нравственный императив Толстого и интеллигентское мышление и сознание. О.В. Ключевский, давший А.И. Солженицыну ключ исторического понимания, сам позаимствовал его у Л.Н. Толстого, как основу его учительного метода.

Отказав государственной элите в лице князей, бояр и дворянства в умении, таланте и способностях строить государство и признавая эту силу только за народом, Ключевский, хочет сказать, что Российское государство созидалось не умно и бессознательно, не по законам духа и красоты, а стихийно, вслепую, в процессе борьбы за жизнь, и что цена ему — полушка. Роль Церкви в этой умозраительной схеме хотя и велика, но борьба не строится на церковности, на духовно-церковных началах. Не от всей Церкви, а лишь от отдельных ее представителей — святых и подвижников, шел *нравственный* (не религиозный) свет, который смягчал нравы, укреплял дух, объединял людей. Так в классическом этюде, посвященном самому великому русскому святому — прп. Сергию Радонежскому — Ключевский обращает внимание именно на эту сторону русской святости. Он пишет, что святые «хотели работать над самими собой, делать дело собственного душевного спасения», но при этом церковная иерархия сумела понять и направить в нужное русло народное целеполагание государственного устройства: «Церковная иерархия благословила своим почином две народные цели, достижение которых послужило основанием самостоятельного политического существования нашего народа: это — сосредото-

²¹ Ключевский В.О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. М.: Мысль, 1993. С. 313—315.

²² Розанов В.В. Л.Н. Толстой и Русская Церковь // Розанов В.В. Террор против русского национализма. Статьи и очерки 1911 г. М.: «Республика», 2005. С. 247—255.

²³ Флоровский Георгий, прот. Указ. соч. С. 406—407.

²⁴ Там же. С. 406.

²⁵ Розанов В.В. Граф Л.Н. Толстой // Розанов В.В. О писательстве и писателях. Собр. соч. под общей ред. А.Н. Николюкина. М.: Изд. «Республика», 1995. С. 27.

точение династически раздробленной государственной власти в московском княжеском доме и приобщение восточно-европейских и азиатских инородцев к Русской Церкви и народности посредством христианской проповеди»²⁶.

При том, что эта умная, живая, интересная история, в ней, как отмечает Г.П. Федотов, читатель «не узнает чем была жива Россия, и для чего она жила»²⁷. Получается, что в этой истории нет духовного стержня, а значит, нет смысла, эта лишь пестрая мозаика характеров, выживающих в трудных условиях борьбы с природно-климатическими и политическими катаклизмами. От русской святости остался лишь слабый свет нравственного примера, от искусства — никакого света. Россия Ключевского — это не предмет для гордости и восхищения, а нравоучительный пример другим и назидание потомкам. Так свет Льва Николаевича Толстого осветил перед революцией, в лице Ключевского и русскую историю, запечатлев ее как эталон для будущего.

В случае с Солженицыным это касалось его отношения к царю Николаю II. Личное отношение к царю Николаю большинства либерального сообщества в предреволюционной России берется за основу характеристики революции. Либерал-славянофил В.О. Ключевский становится в данном случае доверительным лицом, отвечающим за эту эпоху. «Царь Николай», «Царь» (Солженицын даже не называет его императором, чтобы повысить градус ответственности) — та ось, вокруг которой складываются и формируются все российские события в «Красном колесе». Он формирует лицо всего общества, всех политиков, всего народа. У писателя он слаб, нерешителен, безволен и эта же тень ложится на всю страну. Если бы в «Красном колесе» главенствовала бы та же парадигма, что и в «Архипелаге ГУЛАГа», то этой осью был бы не «нравственный императив» в лице царя, а красота души тех, кто отстаивал в начале XX в. монархические устои, в том числе сам царь Николай II. И отстоял, как показала его святая кончина и церковное прославление! И в этом — пророческом — контексте сам царь бы выглядел совсем по-другому; стала бы видна его многосторонняя забота о народе, как народе Божьем (сколько этих свидетельств!), его вера, положительно смотрелась бы его семейственность, его широчайшая благотворительность, системность и разумность его государственной и экономической политики.

Всё бы виделось по-иному. Даже слабости царя, если они и были, не стали бы предметом для обвинений, а наоборот, служили бы оправданием ему, и той неподъемной ноши, которую он нес и не сгибался. Но взяв за основу нравственный портрет царя, да еще рисуемый со слов тех, кто его не любил, да добавив сюда и своего возмущения, Солженицын всю предреволюционную картину поставил с ног на голову. Как ее ставили и те, кто готовил революцию в стране.

Итак, Солженицын принадлежит к плеяде славянофилов, и как русский, православный человек он является выразителем русской традиции, но в период господства постмодернизма в стране. Это отразилось на писательском даре Солженицына. Чтобы выйти на пророческий уровень литературного служения ему необходимо учитывать интересы «добра и зла», а не только добра, как это возможно в традиционном обществе. Вот почему, чтобы его услышали и приняли во всем мире, ему пришлось пожертвовать «добрым именем» (хотя этот выбор был бессознательным) и кроме пророческого служения, осуществлять «учительское» служение. Из трех своих основных тем: «ГУЛАГа», «Революции», и «русско-еврейских отношений», две последние темы писались в рамках толстовской — учительской — парадигмы, т.е. на злобу дня, с учетом интересов только настоящего и не более того. Более того, постмодернистская реальность, давившая на писателя, заставляла его поступаться интересами русской традиции, нарушать объективность повествования. Повторим, не из субъективных пристрастий писал Солженицын глубоко ошибочное понимание «власовского вопроса», это было не его ноу-хау, но так хотела Европа, так ставила вопрос советская власть; и чтобы увидеть подлинную картину у Солженицына не было ни личного опыта, ни возможности собрать коллективную информацию в СССР, как это было с темой ГУЛАГа.

Запад и СССР смотрели на народ, по сути, одинаково: народ должен быть выведен за скобки «коллективной личности», свободной, разумной и религиозной и превращен в одно из двух (или в две части): а) в людей, равно зависимых от идеологии (духовных рабов); б) в предателей, власовцев. Все, кто хоть как-то не любил советскую власть должны были считаться власовцами. Так думал и Солженицын, о чем он подробно пишет в 3-м томе ГУЛАГа

²⁶ Ключевский В.О. Значение преподобного Сергия для русского народа и государства // Сергей Радонежский. М.: Патриот, 1991. С. 392.

²⁷ Федотов Г.П. Указ. соч. С. 348.

(гл.1). Доверившись западной и советской пропагандистской машине, Солженицын, не видит, что была и третья категория (причем самая весомая и авторитетная) — не любящих советскую власть, но любящих свою Родину и свое Отечество, свою Церковь и потому, готовая искренне трудиться и умирать в тех условиях, «какие Бог послал». Поэтому выводя все свободололюбное и думающее, все лучшее из власовского лагеря, Солженицын, безусловно, шел против правды.

Вторая крупная ошибка писателя была связана с темой «революции». Солженицын, под влиянием толстовства и в первую очередь крупнейшего предреволюционного русского историка В.О. Ключевского, взялся писать революцию с оценочных толстовских позиций. Император Николай II выписан Солженицыным как непротивленец злу, толстовец, чем писатель хочет объяснить причину бытующего представления о слабой воле императора. В результате, читателю остается лишь сделать вывод, что революцию подготовил и совершил сам царь Николай II, не сумевший выстроить прочной конструкции власти.

Большой вопрос сегодня о нашем отношении к Солженицыну: о приятии или неприятии его. Сегодня это острый вопрос, разделяющий не только консерваторов и либералов, но и лагерь консерваторов. В. Крупин ругает Солженицына, В. Астафьев и В. Распутин поддерживали его. В 1995 г. Астафьев пишет: «Возвращение Солженицына домой — это событие не только для всей культурной жизни России, но и сдвиг в сознании всей мировой интеллигенции, событие, нами пока неосознанное, но многих раздражившее — сам шевелит мозгами и заставляет всех нас тревожиться за свою судьбу, озаботиться заботами России и добиваться блага, строить жизнь собственными руками, собственным трудом... Солженицын прежде всего состраданием, сочувствием своему народу и Родине своей помогает нам *взнять* лицо к небу, укрепиться на земле, он, он истинный праведник, взывающий к Богу и добру, а не тот, что, тоже явившись на родину, поддакивал разъяренной толпе: “Если враг не сдается его уничтожат”, видя, что во враги тут могут зачислить кого угодно, даже самого вновь прибывшего провозвестника-буревестника не пощадят»²⁸. Л. Бородин, писал: «Тщетно А.И. Солженицын призывал жить не по лжи. Поздно. Люди научились жить по “не вере”. Причем все

— от колхозника до члена Политбюро»²⁹. Автор возмущается хамскими наскоками на Солженицына³⁰. «Диссиденты, отсидевшие и несидевшие, уезжали за “бугры” с уверенностью, что навсегда... И лишь Солженицыны твердили упрямо: “Вернемся!” А.И. Солженицын, безусловно, не сомневался в неизбежности краха, когда говорил, что после падения коммунистов стране следует еще какое-то время пребывать в авторитарном режиме, дабы предотвратить структурный развал. Но нигде ни слова о сроках»³¹. Конечно, отрицательно относятся сегодня к Солженицыну все те силы внутри России, кто остается апологетом советского строя, считая советский строй (за экономические, технические и военные достижения) чуть ли не высшим достижением России за весь ее исторический период. Однако, в массе своей критики Солженицына действуют на привычном сегодня хлестком публицистическом уровне, не показывая ни знания текстов самого писателя, ни глубокой аналитической разборки его идей. Все, в данном случае строится на «личных впечатлениях», на «эмоциях от прочитанного», на сосредоточении на тех неудобных и сложных для понимания частностях, которые присутствовали у писателя в силу, как было отмечено выше, в силу того, что ему приходилось жить и творить в условиях постмодернистской действительности, но объясняются этими авторами плоско и неадекватно. Более всего задевают, конечно, несправедливые оценки таких людей как писатель В. Н. Крупин, или же лиц, имеющих докторскую степень (например, диакон В. Василик), а значит владеющими научными методами исследования. Но и их, по большому счету, вводит в заблуждение не сам Солженицын, а необъективное, на наш взгляд, их личное *советское* отношение к советской эпохе. Необъективное, потому что антитезой этому взгляду, как может им показаться, оказывается не антисоветский взгляд (он же чаще всего либеральный) на это время, а русский православный, если переходить на уровень этнической идентичности. Создается впечатление, что в этом вопросе, упомянутые лица просто не желают становиться на свой родной уровень идентичности, но хотят пребывать на уровне *гражданской идентичности* (быть просто советскими людьми) атеистического советского государства. А ведь большое видится на расстоянии, сказал поэт. Да и сложно, делать объективные выводы, опираясь

²⁸ Там же. С. 712.

²⁹ Там же. С. 60.

³⁰ Там же. С. 68.

³¹ Там же. 280.

только на гражданскую идентичность, из которой были вычищены и вытравлены (во всяком случае, у тех, кто старался быть только советским и забыл о своей вере и национальности (этничности)) и православная религиозность, и русская идентичность. Но ведь у нас ни русскость, ни православность не вытравлены, скажут эти люди, и при этом мы остаемся в душе советскими. Можно, сегодня понять тех советских людей, кто, зная подлинную цену советской атеистической власти, продолжал трудиться «не за страх, а за совесть», потому здесь была их Родина и Отечество, здесь были могилы их предков, здесь находилась вся история и культура страны. Знание подлинной цены советской власти вовсе не означало того, что такие люди жили двойной жизнью и готовы были в любую минуту предать эту власть. Знание это означало, что эти люди продолжали хранить в себе как самое драгоценное сокровище и православную веру, и русскую принадлежность. Если же человек терял это подлинное знание цены советской власти, то это указывало лишь на то, человек этот спускался на уровень атеистичности и космополитического интернационализма, он становился полностью советским, как того и хотела партия.

У нынешних защитников советскости, декларирующих свою любовь к советскому строю, как к непогрешимому, в главном, папе Римскому, как будто у него есть и вера и этничность, но что же тогда есть это заблуждение? Думается, их заставляет так поступать только комплекс умозрительной интеллигентности, то, что Солженицын называл «образованщиной». Они в уме конструируют советскую действительность, в том виде как они ее себе представляют; объясняют потери и репрессии объективной необходимостью и оправдывают все такими успехами как победа в войне и полет в космос. Но за этим не стоит ни совестливо-христианское отношение к своему народу, ни подлинная правда жизни, ни реальность. Это виртуальный, выдуманный мир, вычищенный, как это сегодня возможно, манипуляциями с цифрами и фактами. Они боятся потерять органичную связь с русской историей, поэтому придумывают для «красной империи» (А. Проханов) бесконфликтные механизмы исторического развития, чтобы Запад не мог бы критиковать нас за это время и взвалить на нас некое бремя юридической ответственности. Им чужд пушкинский взгляд на русскую историю, который и следовало бы защищать. Получается, что давление со стороны Запада (а это манипуляция сознанием!) заставляет их редуцировать русскую историю, рядить ее в привлекательные упаковки, отказываться от таких имен как Солженицын, потому что они сказали

всему миру страшную правду о сталинской эпохе, которую если признать, то придется поставить на одну доску фашизм и сталинизм. А дальше — следует вопрос о юридической и материальной ответственности. Конечно, отчасти за этим стоит сегодня и государственная сдерживающая позиция, но надо помнить, что государство не спрашивало народ в 1990-е годы, когда почти сдало свои позиции по Великой Отечественной войне, и готово было слушать и подтверждать слова западных лидеров о косвенном участии нашей страны в этой войне. И лишь резкое охлаждение во взаимоотношениях с Западом заставило власть вернуться к адекватной оценке войны.

Надо в отношении СССР начать обстоятельно и фундаментально открывать Западу глаза на фашизм, как порождение не германское или итальянское и испанское, а *общезападное*. Надо двигаться путем (особенно это касается интеллектуалов) создания фундаментальных философских, исторических, культурологических и литературных трудов, рисующих образ фашизма, не только как советского врага, а как врага всей цивилизации, во всей его страшной, безобразной отвратительности. Тот пафос Нюрнбергского процесса, который давно уже в прошлом на Западе, надо обязательно вернуть в интеллектуальный дискурс. Вот куда должны быть сегодня направлены сегодня интеллектуальные силы, желающие добра своей стране! В этом плане, как ни странно, многое будет зависеть от масштабной и адекватной интерпретации главного произведения Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Сегодня Запад смотрит на это произведение как на страшную картинку советской, сталинской действительности, т.е. видит в этой книге только обличительный пафос. Но обличение вещь недолговечная; и, действительно, градус внимания западного читателя к этой книге давно уже сильно понизился. Между тем, надо понимать, что книга автором писалась не столько для СССР и России, сколько для Запада (хотя, поначалу писатель этого и не осознавал). Наша страна пережила эту страшную болезнь и если не в быстрой памяти, то хотя бы в генах хранится (и будет храниться) история ГУЛАГа. Важно лишь ее не искажать, не манипулировать фактами и отдельными составными частями. Правда должна звучать во всей цельности как один художественный образ, как ее представил в своей книге Солженицын. А ведь и в России с этой памятью активно борются. И не только упомянутые выше православные патриоты. Если вы попадете в московский музей ГУЛАГа, в его новом здании, с новой, обширной экспозицией, то вы там практически не увидите

цельного пласта правды о ГУЛАГе — тех лиц, кто был прямо ответственен за факт его существования и функционирования. Есть образ тюрьмы, есть детали тюремного быта, вещи бывших эков, документалистика, включая карты и фильмы об эпохе; есть на интерактивном стенде несколько (4-5) человек, которые несут формальную (но тоже ответственность) за лагерь; руководителей судебной системы, прокуратуры. Но здесь вы не найдете информации о лицах, создававших лагерь и систему тотального принуждения своими «потом и кровью»; разные очаги ГУЛАГа и всю систему лагерей, — главных палачей и организаторов его. Эта сторона жизнедеятельности ГУЛАГа, увы, стыдливо замалчивается, что вызывает сожаление и, конечно, мешает просвещению молодого поколения в духе правды, о которой писал Солженицын. А школьные экскурсии в музеи часты.

Выделим те общие положения, которые наиболее важны для понимания Солженицына, как защитника и радателя русской традиции и культуры.

В главном своем литературном труде — «Архипелаге ГУЛАГе» писатель представляет то, что филолог А. Ф. Лосев называл «обратной стороной титанизма», — образ советского модерна, лишённого какой-либо эстетической красоты и привлекательности (образ античного ужаса). И здесь дело не в том, что у советского модерна было второе лицо — страшное и безобразное, а в том, что это было *общее* с западом непарадное лицо разрушаемого модерна. Солженицын, как пророк, показывает с ориентацией на историческую перспективу, что западный фашизм, породивший мировую войну, ещё не конца раскрыл своего лица. Все ещё впереди. Поначалу это явление, как болезнь, занесённая в Россию с Запада, обозначилось в СССР, т.е. коснулась только одной страны, в то время как фашизм поразил в 1930-е годы всю Европу и поразил бы весь Запад, успей он распространить свое парализующее влияние. Фашистской Германии не хватило *мирного* времени, тогда принуждение к фашизму совершилось бы почти без сопротивления. На очереди были лишь Великобритания и США. Пали бы и они также бесславно, как и остальная Европа, не поторопись Германия с союзниками начать войну с СССР. Образ тотального лагеря, общезападного (а это сегодня весь мир) ГУЛАГа, ещё только предстоит в будущем осваивать Западу. В данном случае книгу Солженицына следует трактовать как противоядие, как возможную прививку для его жителей, не желающих просто плыть по течению и принимать новую реальность как данность. И дело не в том, чтобы предотвратить новый ГУЛАГ (этого избежать, очевидно, как объективной реальности, не удастся, судя по

религиозному вектору западного целеполагания), а в том, чтобы быть готовым остаться в грядущем концлагере человеком. Это главный очаг «сбережения народа», потому именно здесь сберечься ему будет наиболее сложно.

Как русский человек и представитель русской православной традиции, А.И. Солженицын, безусловно, защищал, живя в СССР, и потом на Западе и по возвращению оттуда, — русские ценности. В нем видели русского человека, со всеми его особенностями, сильными и слабыми сторонами. Не видеть этого феномена Солженицына, как личности, олицетворяющей свой этнос, просто невозможно.

Сильные стороны были реализованы в пророческой деятельности Солженицына, представленной большей частью в гулаговской теме. Слабые стороны очевидны в учительной специфике его творчества. Сюда вошло большая часть произведений по теме «революция», а также работы, прямо посвященные национальным отношениям, главным образом работа «Двести лет вместе». Мы рассматриваем слабости писателя в 2-х разных контекстах: в контексте его гибкого отношения в вопросах достижения стратегических целей; и в контексте необходимости работать в условиях советской и западной постмодернистской реальностях. То есть речь не идет в обоих случаях о конформизме или сознательной сдаче позиций (предательстве, как сознательной стратегии выбора). И все же, мы вынуждены говорить о том, что в ряде своих произведений — и, прежде всего, в «В круге первом» и в «Красном колесе» писатель выстраивает художественную модель, не соответствующую традиционному, для русского православного человека, пониманию в одном случае — роли предательства, в другом — образа царя (императора). Мотивом предательства становятся антисоветские (и этим автор их оправдывает) взгляды его героев; мотивом искажения образа царя, оказывается «величие и великость» образа Л.Н. Толстого, как личности, парализующее влияние которого коснулось даже царя Николая и от него зеркально распространилось на чиновничество, военных и народ. Таким образом, тема революции, порождением которой потом станет ГУЛАГ, раскрывается явно не на пророческой глубине, не в притчевой форме, а как факт обличения слабого царя, поддавшегося чарам «великого» Толстого. Получается, что страшный, почти inferнальный ГУЛАГ (как итог революции) породил столь ничтожный и выдуманный конфликт «маленького» царя и «великого» писателя, который, если следовать солженицынской логике, должен был лишь обличить самодержавные слабости, но ни в коей мере не определять вектор

будущего разрешения драмы. Конфликт царя и писателя разрешается уже в 1917 г. и никаких перспектив на будущее у него не остается и тема ГУЛАГа из драматургии «Красного колеса» не вырисовывается. Вот почему революция и ГУЛАГ у Солженицына не связались в одно целое. И дело здесь, думается в том, что писатель сознательно отказался от рассмотрения русской революции в западном контексте. Для него эта Февральская и Октябрьская революция — дело сугубо внутреннее. Но ведь не обязательно делать Запад лицом ответственным за революцию, в том смысле, что снимать эту ответственность с российской стороны. Как модель и форма проведения революция была чисто западным явлением, а, значит, у нее были свои западные драматургические узлы, причем не формальные, а сущностные, сознательно организуемые Западом. Как «бомба», взорвавшаяся резко и сокрушительно, революция — западное явление, а это значит, что роль царя, с учетом этого мощнейшего фактора уже меняется. Он тоже становится не пассивным лицом, поскольку речь, практически идет о внешней агрессии, а не противостоянии «двух судеб». Далее, по-иному выглядит и роль внутреннего фактора. Вместо эффекта домино или карточного домика (здесь Солженицын оказался по обаянию хлесткой фразы Розанова об империи, слинявшей за один день), перед нами разворачивается какая-то иная — сложная — картина религиозного, экономического, социального и культурного бытия России, где сцепка элементов находится на совершенно ином уровне, не столь легковесном и упрощенном, как казалось В.В. Розанову. И все же в предреволюционной истории трудно найти тот единственный образ, который бы показывал, почему в последующем у революции появился потом тоталитарный мир лагерей.

По мысли Солженицына — корни революции находились в глубине революционного движения, уходящего в XIX столетия, долго и упорно подтачивающего российский трон, но он совершенно забывает о самой *стихии революции* (периода ее совершения и развития), а ведь именно здесь, *в одночасье* закладывались такие мощные заделы на будущее, сравнимые только с мифологическими зубьями дракона, засеянными Ясоном, по воле царя Ээта, которые потом проросли в виде сталинских лагерей. Революция как столкновение очень разных сил, в мгновение ока связала во едино и западные формы революции и народный бунт; разнородные социальные, национальные и политические силы; она протолкнула к бытию и разрешила существование самых взаимоисключающих вещей; позволила ударить военной силой по

самым сокровенным святыням — Кремлю, прежде всего, арестовать царскую семью, начать грабить церкви и убивать духовенство и архипастырей. С умопомрачительной жестокостью она позволила расправляться с внутренней контрреволюцией; в течение одного года сумела своими новыми декретами и законами разрушить все мыслимые и немыслимые традиционные устои страны. И вот этот катастрофический вал революционных преобразований, насилия, бесчинств и святотатства, как камнепад, внезапно обрушившийся на прежнюю дорогу и засыпавший все ее проходы и стал новой реальностью, с которой необходимо было смириться, чтобы жить дальше.

К сожалению, с тех же толстовских позиций была написана Солженицыным такая важная для России книга как «Двести лет вместе», представившая большой свод документальных свидетельств на тему русско-еврейских, за период с конца XVIII по начало 1990-х. Но и здесь, как и в предыдущем случае у писателя не было перед глазами искомого «главного образа». Если революцию он не видел своими глазами, то русско-еврейских отношений видел фрагментарно и вскользь, а эта тема, как и предыдущая требует личного опыта, приобретенного в самой гуще событий. Не подходя же к теме пророчески, трудно было найти ту искомую точку отсчета, не временную, а смысловую, которая бы давала материал, необходимый для нужной драматургии этого сложного сюжета. Ведь проблема этих отношений состояла не в том, чтобы показывать злобу дня, кто и как кого больше обидел, а в ее *вечном* измерении, в духовно-религиозной ответственности той и другой стороны перед будущим. Солженицын в данной книге собрал факты, которые должны были показать путь российского еврейства к революции, динамику этих событий. Так, судя по замыслу, построен материал первого тома. Вывод, который напрашивается у читателя после его прочтения: евреи не только сами шли к революции 1917 г., но и им активно помогали; во взаимном *ожесточении* (с русскими и с российским правительством), во взаимной *любви* с русской интеллигенцией — формировался их будущий революционный гений. Плотность документального текста в книге не позволяла (по замыслу) писателю особенно расширять пространство его личного комментария и мнения, поэтому за Солженицына должен был большей частью говорить сам документ. Тем не менее, в заключение первого тома писатель сказал: «Не получили евреи равноправия при царе, но — отчасти именно поэтому — получили руку и верность русской интеллигенции. Сила их развития, напора таланта, вселилась в русское общественное сознание. Понятие о

наших целях, о наших интересах, импульсы к нашим решениям — мы слили с их понятиями. Мы приняли их взгляд на нашу историю и на выходы из нее»³². Слова, сказанные не столько с полным откровением, сколько с чувством глубокого уныния и пессимизма, но, тем не менее, как продолжение того, о чем писал в середине 1880-х годов Вл. Соловьев в работе «Еврейство и христианский вопрос». Тогда философ, которого нельзя не отнести к толстовскому — учительному направлению — за его ложнопророческую деятельность, пришел к выводу, что России, ее правительству и русскому народу недостает для подлинного сочетания с Христом и Его учением, теократического потенциала. Технически эту миссию восполнения недостатка теократического начала мог бы выполнить, с его точки зрения союз русских с католической Польшей и российским еврейством. Теократизм каким-то странным образом должен был восполнить недостаток подлинной (как считал автор) христианской жизни в России; соединить народ и царя; разрушить средостение между городом («умом») и деревней («силой»), дать Русской Православной Церкви подлинную свободу, и, в конечном счете, — открыть через общую теократию — путь иудейству во всемирную христианскую ойкумену.

А.И. Солженицын в своей книге кратко касается выступлений в печати Вл. Соловьева с осуждением антисемитизма в России, но не разбирает подробно довольно основательную и подробно изложенную *программную* позицию философа по еврейскому вопросу. Тем не менее, в целом, как нам видится, позиция Вл. Соловьева берется Солженицыным за основу при написании книги «Двести лет вместе». Солженицын исходит, как и Соловьев из презумпции изначальной невиновности евреев в России и виновности русских (комплексно, включая власть). Объяснения этой точки зрения таковы: русские — дома, евреи — пришлые, поэтому априори последние заслуживают этого снисхождения. Далее, слово в книге дается в книге большей частью еврейской стороне (и писатель это оговаривает в предисловии). И наконец, вся канва взаимоотношений выстроена в рамках политического контекста. «Теократия» Соловьева — это тоже не религиозный, а *политический проект*, использующий религиозный фактор для объединения. Но политический контекст не снимает главного противоречия, которое во втором томе, когда речь пойдет о 1917—1995-х годах должно раскрыться во всей полноте. Если

революция оправдывается «ожесточением» и «любовью», то последующие события, а из них главное — Великая Отечественная война — должны быть оправданы тем *слившимся состоянием* русской интеллигенции с еврейским миром России, о котором и пишет Солженицын в конце первого тома (кстати говоря, образ России и русских, венчающейся с Польшей и евреями, употребляет в той же работе именно Соловьев). Но откуда же тогда появляется Сталин и связанная с ним линия на индустриализацию и коллективизацию, т.е. собиравшие и укрепление внутренней России, вместо ее полного распыления и аннигиляции в буре мировой революции, как логичное продолжение экстаза слияния? Сталинская линия полностью противоречит «слившемуся состоянию». Здесь, как раз, и проявляется нелогичность и Соловьева, и Солженицына, проистекающая из их учительного, а непророческого подхода в освещении данного вопроса. Соловьев в своем теократическом проекте должен был просчитать (если он претендовал на пророчество) появление не Ленина и Троцкого, а именно Сталина, а он, делает из своего проекта обычную химеру-утопию, наподобие «Города-Солнца». И потому, Солженицыну, который опирался на позицию Соловьева при написании книги «Двести лет вместе», пришлось заниматься рациональным конструированием; в первом томе — показывать динамику русско-еврейских отношений, объясняющую появление революции; во втором томе — иллюстрировать динамику тех же отношений, предшествующих войне и отталкивающимися от войны.

Интересным образом, пытается решить А.И. Солженицын во втором томе книги проблему факта и его интерпретации. Он ставит вопрос о рассеянии, как *проблему растворения евреев после революции в русской среде*, а не на полях битв всемирной революции (чего в истории не было) и смысл этой проблемы состоит в том, что растворяясь, они не растворяются, а лишь заквашивают тесто, в котором растворяются. В советское время они играют роль «катализатора» для всех важнейших процессов. Т.е. продолжается логика создания теократического государства (хотя и умозрительно теократического), предложенная Вл. Соловьевым. Как и в первом томе, слово большей частью дается еврейской — «растворившейся» — стороне. И, как ни странно, это выглядит у Солженицына логично объяснимо, поскольку политическая история СССР остро нуждается в таком материале. Но не логично то, что история

³² Солженицын А.И. Двести лет вместе (1795—1995). В 2-х частях. Ч. 1. М., С. 475.

советской России не сводится к политической истории, (именно с позиции всей истории России советского периода) очевидно, другое: голос другой — русской — стороны здесь было бы важнее усилить. Рассуждая логически: если теперь русские стали рассматриваться советской властью как великодержавная нация, а все другие народы, как пострадавшие от нее, то следовало бы сделать шаг навстречу угнетаемой нации и априори, словом поступить зеркально тому, как поступали совестливые интеллигенты второй половины XIX в. в отношении малых народов России. Но в книге этого нет, даже в том, что касается большего места в тексте для более аргументированного представления русской точки зрения. Повторим, что причина этого нам видится не в ангажированности Солженицына, а лишь в отказе (скорее всего по причине невозможности) следовать пророческим путем в рамках данной темы. Просто выбор механизма повествования сам начинает диктовать логику изложения текста.

При всем том, что Солженицын ведет себя во втором томе книги *услужливо* по отношению к одной стороне и сурово отстраненно по отношению к другой (также как его главный герой в повести «Один день Ивана Денисовича» по отношению к Цезарю Марковичу — богатому «то ли еврею, то ли греку» (растворимость не дает этого понять)), эта позиция не выражает ни униженности, ни подобоострастия. И, думается, вот почему: его главный герой Шухов имеет свою фамилию, свое русское имя, он полностью раскрыт писателем, во всех своих действиях; нет уголка, закрытого от читателя; ему нечего скрывать, его совесть чиста (даже перед семьей, которую он не хочет обременять ни просьбами, ни подозрениями). Прозрачность и чистота его жизни — лучшее свидетельство в пользу чистоты его души. И те минуты, вдохновенного труда (как на воле), которые увлекают даже не привыкшего к такому темпу латыша Кильдигса, только подтверждают это предположение. Поэтому даже те внешние формы *лагерного* порядка, этикета и иерархии, которых должен придерживаться Шухов, чтобы выжить,

не перечеркивают этой картины, а лишь дополняют ее. Если же касаться богатого заключенного Цезаря Марковича, то его закрытость от читателя (как и при каких обстоятельствах он получил разрешение на ношение своей выдающейся шапки, и другие льготы?; кто и за счет чего два раза в месяц отправляет ему фантастические для того времени посылки? и другое) вызывает много вопросов, на которые автор специально не дает ответа. Таким образом, услужливость Солженицына еще ни о чем не говорит, но может быть лишь подчеркивает, что Иван Денисович еще не исчерпал число дней своего пребывания в лагере?!

Подытоживая *учительное направление* в творчестве А.И. Солженицына, отметим, что толстовство писателя выражалось разнообразно; он учитывал опыт и самого Л.Н. Толстого, (например, роман «В круге первом» построен целиком на толстовских позициях по отношению к государству), а также людей по духу толстовцев — В.О. Ключевского, подарившего Солженицыну исторический концептуальный код понимания русской истории, написанной с позиции зависимой от идеологии власти; также В. С. Соловьева, когда писал «Двести лет вместе»; толстовский отраженный свет замечен и политической публицистике писателя (здесь и А.И. Герцен, и поздний И.С. Аксаков). Однако, ни в пророческом даре предвидения будущего (конечно, по-светски), ни в толстовском опрошенном описании злобы дня настоящего, А. И. Солженицын не забывает о своей принадлежности к русским корням и ветвям, опирается на эту основу, старается, в любом случае, сохранять свою главную мысль — об ответственности перед Богом за все им сказанное и написанное. Из этой позиции выросло его понимание истины о сбережении народа; это понимание есть в каждом его произведении. Трактровка сбережения в «Архипелаге» отличается от понимания его в «Круге первом», как и в других солженицынских вещах, она неодинакова и порой спорна. Но автор сознательно, на наш взгляд, закладывал в каждое свое произведение (как великий русский писатель) этот росток жизни.

